

Николай РАЧКОВ

«Будет сын – назови его Колей...»



— Дело в том, что я на протяжении многих лет посыпал ему каждый новый сборник своих стихов в надежде, что получу хотя какой-нибудь отзыв. Но, увы, так и не получил. А ты едва вошёл в литературу — сразу за своё творчество получил такую высокую оценку. И от кого? От самого живого классика! Фантастика!

— Гена, а ты случайно мне не заинтересовалась?

— Что ты, Иван, я очень за тебя рад как друг! Но, согласись, в действиях Валентина Григорьевича нет последовательности?

— Не соглашусь!

— Почему?

— Потому что, видимо, мои стихи тронули его душу больше, чем твою. Только и всего. А лучше — подойди и сам спроси, какое у него мнение о твоём творчестве. Думаю, что великий писатель скажет правду и только правду, и ничего, кроме правды!

Ко времени проведения Дней русской литературы в моём Ленском районе, я взошёл на первые ступени терристического пути в члены Союза писателей России: общее собрание Республиканской якутской организации через тайное голосование постановило рекомендовать мою кандидатуру для рассмотрения на заседании прёмной комиссии, членом которой как председатель российского союза являлся Валентин Григорьевич. Когда председательствующим была названа моя фамилия, то Распутин встал и, как обычно, негромко, но весомо высказал своё мнение, заключавшееся в том, что он хорошо знает мое творчество и не видит никаких причин, препятствующих для вынесения моей кандидатуры на утверждение секретариата.

Этот орган Союза писателей России обычно заседал на следующий день. Но по какой-то важной причине Валентин Григорьевич не смог принять в его работе участия. Однако перед тем, как объявлять голосование по моей кандидатуре, кто-то из секретарей спросил докладчика:

— А Иван Переверзин — это не тот ли молодой поэт, о котором так лестно отозвался на комиссии Распутин?

— Он самый!

— Тогда о чём речь! Надо принимать! И приняли единогласно.

Только ответственный работник, который вёл протокол, то ли, образно говоря, ворон ловил, то посчитал, что раз меня рекомендовал сам великий прозаик Валентин Григорьевич, значит, и я тоже пишу прозу. И, ничуть не смущаясь, записал, что Иван Переверзин принят в члены Союза писателей России по секции прозы.

Естественно, с такой формулировкой я и получил в далёком Ленске, за шесть тысяч километров от столицы, соответствующую выписку из протокола секретариата.

Прочитав её, сначала пришёл в недоумение. Даже хотел письменно на имя председателя Союза писателей России выразить протест. Но, подумав, решил, что никакой ошибки никто в отношении моего приёма не совершил. Просто была исполнена Божья воля, которую надо понимать, что рано или поздно, но я заявлю о себе ещё и как прозаик.

Время подтвердило это. Недавно у меня вышел в свет первый том избранной прозы «Росомаха». Жаль только, что случилось это перед самой смертью моего крёстного отца в литературе, и мне не удалось подарить ему эту книгу. А пришлось до боли в сердце горевать о печальнике и певце земли русской, чьи классические традиции, чью граждансскую позицию будут до конца отстаивать и в прозе, и в стихах своих.

И всё-таки мое возвращение в позицию вряд ли было, прежде всего для меня, по-настоящему состоявшимся, если бы я за десять лет добровольного молчания не понял, что человеческая смерть, как Всеприняла, бесконечна.

Это значит, бояться надо не её, конечно, а остроглазую жизнь. Хотя бы потому, что планов, в том числе поэтических, уаждущий творчества души — громадё, а время, за которое надо осуществить задуманное, находится целиком в руках Божьих.

И каждый день может быть последним... Причём, запросто. Разве сбирался мой друг и учитель, известнейший русский поэт двадцатого столетия, едва успевший отметить своё шестидесятилетие, умирать? Конечно же, нет! Но однажды вечером он уснул — и не проснулся...

Однако, несмотря ни на что, я за себя не чувствую даже малой тревоги, ибо, как сказал другой мой друг, гениальный поэт нашей эпохи, к счастью, ныне здравствующий: «У истинного поэта каждый день, как первый день, и каждое новое стихотворение, как самое первое и неповторимое...».

Наверно, потому, что коль в природе всё — и хорошее, и плохое, — как на весах, уравновешено, то и мое десятилетнее поэтическое молчание должно по воле свыше воздаться сполна или временем, или стихами!.. Тем более, что им, теперь уже можно прямо сказать, я всё же долго — ох, как долго и трудно — уходя, вернулся!

Сурова, но и безмерна милость Божья. Аминь.

А мы целеуем красные знамёна.
Враг был сильней.
Но победили мы.

Ижорский батальон

Пусть на двоих одна винтовка
И каждый на счету патрон,
Пусть взяты Госно и Поповка,—
Вперед, Ижорский батальон!

Снаряды всё плотней, всё ближе.
И снова враг ошеломлён:
В крови, в дыму, в болотной жиже
Стоит Ижорский батальон.

Не за рули, не за награду,
Сдержав в груди предсмертный стон,
Стоит спиной к Ленинграду
Рабочий этот батальон.

Пускай потом, в уютном зале,
Кощунством дерзким упёр,
Проходит кричт, что зря стояли...
Стоять, Ижорский батальон!

До сей поры врагов тревожит:
Он трижды выбыт, разбомблён,
Его уж нет, да как он может
Стоять — Ижорский батальон?

Мы победили, Боже правый!
Склоните ниже щёлк знамён:
Под Колпином, в траншее ржавой
Стоит Ижорский батальон.

«Спасли Европу?»
Вы в своём уме ли?..» —
И пишут, и кричат наперебой,
Что воевать как надо не умели.
Нет так дрались.
Не так ходили в бой.

«От Любани до Мги

Не так умели утеплять землянки
И наступать из логова болот.
Зачем,
зачем бросались мы под танки
И всею грудью падали на дот?

«Где шестой батальон?..»
Где четвёртая рота?..»

За спиной — Ленинград.
Невозможен отход.

«Только насмерть стоять!»
«Только насмерть, пехота!..» —

Зачем поторопились взять
Берлин?

«Да можно ль перечислить
поимённо

Всех, кто легли
под братские холмы?!

«Причёска «Полюби меня, Гагарин!»

Поплиновые платьица в горох...
Неужто свыше этот день подарен,

Чтобы никто отнять его не смог?

Никто-ничто! Ни будущие слёзы
Предательски терзаемой страны,
Ни мужние похмельные угрозы,
Ни призраки космической войны.

Нидети, ни морщины, ни седины,
Ни алименты — чёт бы их побрал! —

Отнять не властны этот день единий,
Который — был!

И самым звёздным стал!

Когда, лучась ульбчивостью кроткой,
От знойных взглядов

заслонясь рукой,

Они слетались

к оренбургской «лётке»,

Благоухая «Красною Москвой».

Слетались, словно птички-невелички.

О чём-то щебетали меж собой,

Верны исконной девичьей привычке

Везде искать небесную любовь.

Aх, здесь что ни курсант —

то сокол-парень!

Крылатым помогает Оренбург.

Aх, кабы знать,

какой из них Гагарин?

Он сам тебя узнает средь подруг!

Спешат девчата

к оренбургской «лётке»...

И пусть не всем сегодня повезло —

Не выплыли на свиданье

парни «слётки»,

Поставленные крепко на крыло.

A, может, и не выйдут...

Может статься,

Взлетели, улетели высоко,

Чтобы мечтою навсегда оставаться,

Ведь без мечты на свете нелегко!

Ведь без мечты, до времени состарен,

Однажды рухнет мир,

как в страшном сне...

Люби меня, как я тебя, Гагарин!

Люби меня, не зная обо мне.

Улицы сутулится под ветром...

Горбится под линией старый мост...

Ну, а я бегу, считая метры

До того, что невзначай сбылось.

Зонт мой нераскрывшийся,

что дальше?

Но стоять, лейтенант!
Не сдаваться, пехота!
Ты не станешь,

не станешь добычей ворон.

Кто-то тонет,

не сбросив с плеча пулемёта,

Кто-то

лёгкие выхаркнул с тиной гнилой.

Вот она, сорок первого года пехота

Меж Любани и Мгой,

меж Любани и Мгой.

В День Победы

тытихо пойди за ворота,

Ты услышь,

как вдали раздаются шаги.

Это без вести павшая наша пехота

От Любани до Мги, от Любани до Мги...

Проводы

«По вагонам!» —

хлестнуло по нервам.

Лица сразу — как серый свинец.

Ты от нас молодым

В сорок первом

Навсегда уезжаешь, отец.

Мама смотрит почти отрешённо,

Мама милю беременна, мной.

Эх, отец,

Из этого эшелона

Никому не вернуться домой.

Ты последним усилием воли

Крикнул сквозь нарастающий гул:

«Будет сын — назови его Колей,

Будет дочь...» —

и рукою махнул.

И с разгона пошёл,

И с разгона

Эшелон в предназначенный бой.

...Добежать бы, отец, до вагона,

Хоть бы взглядом проститься с тобой.

Мой дядя

Мой дядя погиб у Ельни.

Отважный был артиллерист.

У старой немецкой деревни

Поставлен ему обелиск.

Рыжий, словно око светофара,

Кот, глядящий ночью в лица звёзд,

Привязался, чтоб отстать нескоро —

Прихвостен, бродяга и прохвост!

...На сырому ветру роняя блёстки

<